



ДОСТОЕВСКАЯ Анна Григорьевна (урожд. Сниткина)

30.8 (11.9) 1846, Петербург — 9.6.1918, Ялта
перезахоронена в Александро-Невской Лавре, мемуаристка
Жена Ф. М. Достоевского

ром. Работа у нас пошла превосходно...» (Достоевский. Письма, П, 3). Благодаря ей роман «Игрок» был написан в обусловленное издателем время. 8 ноября 1866 Достоевский сделал ей предложение. После свадьбы (15 февраля 1867) Достоевская стала постоянной помощницей писателя: стенографировала и переписывала его произведения, читала корректуры, вела издательские и финансовые дела, организовала книжную торговлю (с 1872), что значительно улучшило материальное положение семьи. Она «умело и с любящею внимательностью берегла хрупкое здоровье своего мужа, держа его, по её собственному выражению, постоянно «в хлопотках», как малое дитя а в обращении с ним проявляла мягкую уступчивость, соединенную с большим просвещённым тактом...» (Достоевский в воспоминаниях, П, 246).

После смерти Фёдора Михайловича неустанная деятельность вдовы была связана с его литературным наследием. Она оказала помощь при подготовке книги «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» (СПб., 1883), выпустила семь собраний его сочинений. Материалы (фотографии, книги, автографы, документы, личные вещи писателя), собранные ею, стали основой для создания Музея-квартиры Достоевского в Москве (1928; первоначально

в 1906 была открыта комната при Историческом музее). Своеобразный музей был создан Достоевской и в Старой Руссе. В последние годы жизни Анна Григорьевна готовила к изданию письма Достоевского к ней, работала над расшифровкой своего «Дневника» за 1867 (который вела во время заграничного путешествия в 1867–1871; опубл. — «Литературное наследство» т. 86, 1973), в 1911–1916 писала мемуары (Достоевский — главное и почти исключительное лицо этих записок) на основе своих дневников, писем и записных книжек мужа, а также с использованием воспоминаний и писем современников. Не стараясь проникнуть в глу-

Родилась в семье мелкого чиновника. Училась в училище Св. Анны (1857), в 1-й женской Мариинской гимназии (1858–1864), на педагогических курсах Н. А. Вышнеградского (оставила их из-за болезни отца), на курсах стенографии П. М. Олехина (1866), по рекомендации которого с 4 октября того же года была приглашена для срочной работы Достоевским (это имя «было знакомо мне с детства: он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над «Записками из «Мёртвого дома»» — Достоевская А. Г. Воспоминания, М., 1981, с. 60). «Стенографка моя... молодая и довольно пригожая девушка... с чрезвычайно добрым и ясным характере-





НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная коллегия:

Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный редактор
Елена Русакова

Права на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2021
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в каталоге агентства
«Роспечать»
70782 на полугодие,
71752 на год;

в объединенном
каталоге
«Пресса России»
38915 на полугодие;
в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2021 №2 /1871/ Основана в 1927 г.

Анна Достоевская

«Я помню его таким...»

Предисловие

Я никогда прежде не задавалась мыслью написать свои воспоминания. Не говоря уже о том, что я сознавала в себе полное отсутствие литературного таланта, я всю мою жизнь была так усиленно занята изданиями сочинений моего незабвенного мужа, что у меня едва хватало времени на то, чтоб заботиться о других, связанных с его памятью, делах.

В 1910 году, когда мне, по недостатку здоровья и сил, пришлось передать в другие руки так сильно интересовавшее меня дело издания произведений моего мужа и когда, по настоянию докторов, я должна была жить вдали от столицы, я почувствовала громадный пробел в моей жизни, который необходимо было заполнить какою-либо интересующею меня работой, иначе, я чувствовала это, меня не надолго хватит.

Живя в полнейшем уединении, не принимая или принимая лишь отдаленное участие в текущих событиях, я мало-помалу погрузилась душою и мыслями в прошлое, столь для меня счастливое, и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней жизни.

Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком, тем более что я была уверена, что моими записями заинтересуются мои дети, внуки, а может быть, и некоторые поклонники таланта моего незабвенного мужа, желающие узнать, каким был Федор Михайлович в своей семенной обстановке.

Из этих разновременно записанных в последние пять зим (1911–1916) воспоминаний составилось несколько тетрадей, которые я постаралась привести в возможный порядок.

Не ручаясь за занимательность моих воспоминаний, могу поручиться за их достоверность и полное беспристрастие в обрисовке поступков некоторых лиц: воспоминания основывались главным образом на записях и подкреплялись указаниями на письма, газетные и журнальные статьи.

Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей: растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и пр. Но в семьдесят лет научиться новому трудно, а потому да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками — таким, каким он был в своей семейной и частной жизни.

Глава первая ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания: так, в единственной приходской церкви (ныне монастырской) Лавры, находящейся над главными входными воротами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования св. Александра Невского, в доме, принадлежащем Лавре, и давал мне молитву и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры погребен мой незабвенный муж, и, если будет угодно судьбе, найду и я, рядом с ним, место своего вечного упокоения. Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александро-Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире.

Родилась я 30 августа 1846 года, в один из тех прекрасных осенних дней, которые слынут под названием дней «бабьего лета».

Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне Лавре, во втором этаже. Квартира была громадная (комнат 11), и окна выходили на Шлиссельбургский проспект и частью на площадь перед Лаврою. Семья была большая: старушка-мать и четыре сына, из которых двое были женаты и имели детей. Жили дружно и по-старинному гостеприимно, так что в дни рождения и именин членов семейства, на Рождестве и Святой все близкие и дальние родные собирались у бабушки с утра и весело проводили время до поздней ночи.

Скажу несколько слов о моих родителях. Род отца был из Малороссии, и прапрадед носил фамилию Снитко. Прадед, продав имение в Полтавской губернии, переселился в Петербург, уже именуясь Сниткиным. Мой отец воспитывался в петербургской школе иезуитов, но иезуитом не сделался, а всю жизнь оставался добрым и простодушным человеком. Служил мой отец в одном из магистратов или департаментов.

Мать моя была родом из Швеции, из почтенного рода Мильтопеус. Какой-то из ее прадедов был лютеранским епископом, а дяди — учеными. Это доказывает прибавление окончания «еус», что учеными делалось из какого-то кокетства, вроде прибавления частицы де или фон. Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора. Посетив однажды Або, проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений.

Отец моей матери, Николай Мильтопеус, был помещиком в Санкт-Михельской губернии, и вся семья жила в имении, кроме сына Романа Николаевича, который воспитывался в Московском землемерном институте. Когда он окончил курс и получил место в Петербурге, то продал имение отца (к тому вре-

мени умершего) и перевез всю семью в Петербург. Здесь моя бабушка Анна-Мария Мильтопеус вскоре скончалась, а моя мать с двумя сестрами осталась жить у брата. Мать моя была женщина поразительной красоты — высокая, тонкая, стройная, с удивительно правильными чертами лица. Обладала она также чрезвычайно красивым сопрано, сохранившимся у ней почти до старости. Родилась она в 1812 году и, когда ей было девятнадцать лет, обручилась с одним офицером. Им не пришлось обвенчаться, так как он принял участие в Венгерской кампании и был там убит. Горе моей матушки было чрезвычайное, и она решила никогда не выходить замуж. Но годы шли, и мало-помалу горечь утраты смягчилась. В том русском обществе, где вращалась моя мать, были любительницы сватать (это было в тогдашних обычаях), и вот на одно собрание, собственно для нее, пригласили двух молодых людей, искавших себе невесту. Мать моя им чрезвычайно понравилась, но когда ее спросили, понравились ли ей представленные молодые люди, то она ответила: «Нет, мне больше понравился тот «старичок», который все время рассказывал и смеялся». Она говорила про моего отца.

В прежние времена люди за сорок лет считались уже стариками, а папе тогда было уже 42 года (родился в 1799 г.). Папа весело и приятно провел свою молодость, но под влиянием строгой матери жил сдержанно, а потому в 42 года представлял из себя человека здорового, крепкого, румяного, с прекрасными голубыми глазами и цельными зубами, но с порядочно пордевшей шевелюрой.

До кончины своей матери папа не предполагал обзаводиться семьей, а потому бывал в обществе в качестве приятного собеседника, но отнюдь не жениха. Его тоже представили моей матери, и она ему очень понравилась, но так как она плохо говорила по-русски, а он плохо по-французски, то разговоры между ними не очень затянулись. Когда же ему передали слова моей мамы, то его очень заинтересовало внимание красивой барышни, и он стал усиленно посещать тот дом, где мог с нею встретиться. Кончилось тем, что они полюбили друг друга и решили пожениться. Но пред ними стояло серьезное препятствие: мама было лютеранкой, а, по понятиям папиной православной семьи, жены должны были быть одной веры с мужьями. Дошло до того, что папа решил пойти против семьи и жениться, даже если бы пришлось разойтись с некоторыми из ее членов. Мама об этом узнала и, боясь внести раздор в столь дружную семью, долго была в затруднении: перейти ли в православие или отказаться от любимого человека. На ее решение повлияло одно обстоятельство: поздно ночью, когда назавтра ей предстояло дать решительный ответ моему отцу, она долго молилась на коленях пред распятием и просила Господа Бога прийти к ней на помощь. Вдруг, подняв голову, она увидела над распятием яркое сияние, которое осветило всю комнату и затем исчезло. Это явление по-

вторилось еще два раза. Моя мать приняла это за указание свыше решить тяготивший ее вопрос в благоприятном для моего отца смысле. В ту же ночь она увидела сон: будто она вошла в православную церковь и стала молиться у плащаницы. Этот сон был тоже принят ею как указание свыше. Можно представить себе ее изумление, когда две недели спустя, приехав на обряд миропомазания в Симеоновскую (на Моховой) церковь, она увидела, что ее поставили у плащаницы и что окружающая обстановка совершенно та же самая, какую она видела во сне. Это успокоило ее совесть. Сделавшись православной, моя мать стала ревностно исполнять обряды церкви, говела, причащалась, но молитвы на славянском языке ею трудно усваивались, и она молилась по шведскому молитвеннику. Она никогда не раскаивалась в том, что переменяла религию, «иначе, — говорила она, — я бы чувствовала себя далеко от мужа и детей, а это было бы мне тяжело».

Прожили мои родители вместе около двадцати пяти лет и жили очень дружно, так как сошлись характерами. Главою дома была моя мать, обладавшая сильной волей; папа добровольно подчинился маме и отвоевал себе лишь одно: свободу рызскивать и покупать на Апраксиной и других рынках (антиквариет тогда было масса) разные редкости и диковинки, а преимущественно ценный фарфор, в котором он понимал толк.

Первые годы своей брачной жизни мои родители прожили вместе с бабушкой и многочисленной семьей. Но когда, лет через пять, бабушка скончалась и семья распалась, моя мать уговорила отца купить дом у Николаевского Сухопутного госпиталя, а вместе с домом громадный участок земли (около двух десятин), занимавший пространство, где теперь Ярославская и Костромская улицы, и выходявший на Малую Болотную улицу до самой фабрики Штиглица.

Я вспоминаю мое детство и юность с самым отрадным чувством: отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в саду; зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не было; нас никто не пытался «развивать». Удовольствия доставлялись нам редко: елка на Рождество, зажигающаяся каждый вечер, домашнее переряжение; на Масленой нас возили на балаганы и катали на вейках. Два раза в год ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми месяцами находились под очарованием виденного нами спектакля.

Скажу несколько слов о своем образовании. С девяти до двенадцати лет я ходила в Училище св. Анны

(на Кирочной улице). Преподавание всех предметов (кроме Закона Божия) шло на немецком языке, и знание этого языка пригодилось мне впоследствии, когда пришлось провести с мужем несколько лет за границей. В 1858 году в столице открылась первая женская гимназия (Мариинская), и осенью я поступила туда во второй класс. Учиться мне было легко, и при переходе в 3-й и 4-й классы я получала в награду книги, а при окончании курса в 1864 году — большую серебряную медаль. За год перед тем были открыты Н. А. Вышнеградским Педагогические курсы, в которые поступали желающие продолжать свое образование. Осенью 1864 года я тоже поступила на курсы.

Летом 1865 года выяснилось прискорбное для меня обстоятельство, что болезнь моего отца не поддается лечению и что ему недолго осталось жить. Тогда я, жалея оставлять моего дорогого больного одного на целые дни, решила на время покинуть курсы.

В начале 1866 года появилось объявление о Курсах стенографии, которые будет читать П. М. Ольхин, в здании 6-й мужской гимназии. Узнав, что лекции предполагаются по вечерам (когда мой дорогой отец уже уходил на покой), я решила поступить на Курсы стенографии. Сначала стенография мне решительно не удалась, и после 5-й или 6-й лекции я пришла к убеждению, что это для меня тарабарская грамота, которую мне ни за что не осилить. Когда я сказала об этом папе, он был очень возмущен: упрекал меня в недостатке терпения, настойчивости и взял с меня слово, что я буду продолжать занятия, выражал свою уверенность, что из меня выработается хороший стенограф. Он точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье.

Кончина моего отца было первое несчастье, которое я испытала в моей жизни. Горе мое выразилось бурно: я много плакала, целые дни проводила на Большой Охте, на могиле покойного, и не могла примириться с тяжелой утратой. Моя мама была встревожена моим тяжелым настроением и умоляла меня приняться за какой-нибудь труд. К сожалению, лекции стенографии уже прекратились, но добрый П. М. Ольхин, наш учитель, узнав о моем горе и пропуске мною многих уроков, предложил заменить их стенографической с ним перепиской. Два раза в неделю я должна была посылать ему две или три страницы определенной книги, написанных мною стенографически. Ольхин возвращал мне стенограммы, исправив замеченные им ошибки. Благодаря этой переписке, длившейся в течение трех летних месяцев, я очень успела в стенографии, тем более что мой брат, приехавший на каникулы, диктовал мне почти ежедневно по часу и более, так что я мало-помалу усвоила, кроме правильности стенографического письма, и скорость его. Вот почему, когда в сентябре 1866 года вновь открылись курсы, я оказалась единственной ученицей Ольхина, которую он с доверием мог рекомендовать для литературной работы.

Глава вторая. ЗНАКОМСТВО С ДОСТОЕВСКИМ. ЗАМУЖЕСТВО

Третьего октября 1866 года, около семи часов вечера, я, по обыкновению, пришла на лекцию по стенографии. Она еще не началась: поджидали опоздавших. Я села на свое обычное место и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошел Ольхин и сказал:

— Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя.

— Очень хочу, — ответила я, — давно мечтаю о возможности работать. Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие.

Ольхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большей скорости письма, чем та, какую я владею.

— У кого же предполагается стенографическая работа? — заинтересовалась я.

— У писателя Достоевского. Он теперь занят новым романом и намерен писать его при помощи стенографа. Достоевский думает, что в романе будет около семи печатных листов большого формата, и предлагает за весь труд пятьдесят рублей.

Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства: он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над «Записками из Мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала.

Ольхин передал мне небольшую, вчетверо сложенную бумажку, на которой было написано: «Столярный переулок, угол М. Мещанской, дом Алонкина, кв. № 13, спросить Достоевского», и сказал:

— Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра, в половине двенадцатого, «не раньше, не позже», как он мне сам сегодня назначил.

Ольхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала: я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществлялась: я получила работу! Если уж Ольхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу, — значит, это правда, иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу, могу зарабатывать своим трудом деньги, становлюсь независимой, а идея независимости для меня, девушки шестидесятых годов, была самою дорогою идеей. Но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем.

Вернувшись домой, я обо всем подробно рассказала моей матери. Она тоже была чрезвычайно довольна моей удачей. От радости и волнения я почти всю ночь не спала и все представляла себе Достоевского. Считая его современником моего отца, я полагаю, что он уже очень пожилой человек. Он рисовался мне то толстым и лысым стариком, то высоким и худым, но непременно суровым и хмурым, каким нашел его Ольхин. Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное мною слово. Смущала меня также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами, с которыми и говорить-то следовало особенным образом. Вспоминая те времена, вижу, каким малым ребенком была я тогда, несмотря на мои двадцать лет.

Четвертого октября, в знаменательный день первой встречи с будущим моим мужем, я проснулась бодрая, в радостном волнении от мысли, что сегодня осуществится давно лелеянная мною мечта: из школьницы или курсистки стать самостоятельным деятелем на выбранном мною поприще.

Я вышла пораньше из дому, чтобы зайти предварительно в Гостиный двор и запастись там добавочным количеством карандашей, а также купить себе маленький портфель, который, по моему мнению, мог придать большую деловитость моей юношеской фигуре. Закончила я свои покупки к одиннадцати часам, чтобы не прийти к Достоевскому «не раньше, не позже» назначенного им.

Дом был большой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил Раскольников.

Квартира № 13 находилась во втором этаже. Я позвонила, и мне тотчас отворила дверь пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом в клетку платке. На вопрос, кого мне угодно видеть, я ответила, что пришла от Ольхина и что ее барин предупрежден о моем посещении.

Не успела я снять свой башлык, как дверь в прихожую распахнулась, и на фоне ярко освещенной комнаты показался молодой человек, сильный брюнет, с взлохмаченными волосами, с раскрытой грудью и в туфлях. Увидав незнакомое лицо, он вскрикнул и мигом исчез в боковую дверь.

Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовою. Обставлена она была довольно скромно: по стенам стояли два больших сундука, прикрытые небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрывкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели

стенные часы. Я с удовольствием заметила, что на них в ту минуту было ровно половина двенадцатого.

Минуты через две появился Федор Михайлович, пригласил меня пройти в кабинет, а сам ушел, как оказалось потом, чтобы приказать подать нам чаю.

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины.

В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый коричневой, довольно подержанной материей; перед ним круглый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме висел портрет чрезвычайно сухошавой дамы в черном платье и таком же чепчике. «Наверно, жена Достоевского», — подумала я, не зная его семейного положения.

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то, для удобства, оно было придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей.

Я сидела и прислушивалась. Мне все казалось, что вот сейчас я услышу крик детей или шум детского барабана; или отворится дверь и войдет в кабинет та сухошавая дама, портрет которой я только что рассматривала. Но вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня:

— Давно ли вы занимаетесь стенографией?

— Всего полгода.

— А много ли учеников у вашего преподавателя?

— Сначала записалось более ста пятидесяти желающих, а теперь осталось около двадцати пяти.

— Почему же так мало?

— Да многие думали, что стенографии очень легко научиться, а как увидели, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия.

— Это у нас в каждом новом деле так, — сказал Федор Михайлович, — с жаром примутся, потом быстро охладывают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота?

С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — тридцати семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы, были сильно напояжены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были раз-

ные: один — карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно¹. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах).

Через пять минут, вошла служанка и принесла два стакана очень крепкого, почти черного чаю. На подносе лежали две булочки. Я взяла стакан. Мне не хотелось чаю, к тому же в комнате было жарко, но, чтобы не показаться церемонной, я принялась пить. Сидела я у стены перед небольшим столиком, а Достоевский то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую. Предложил он и мне курить. Я отказалась.

— Может быть, вы из вежливости отказываетесь? — сказал он.

Я поспешила его уверить, что не только не курю, но даже не люблю видеть, когда курят дамы.

Разговор шел отрывочный, причем Достоевский то и дело переходил на новую тему. Он имел разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил он, что у него эпилепсия и на днях был припадок, и эта откровенность меня очень удивила. О предстоящей работе Достоевский говорил как-то неопределенно:

— Мы посмотрим, как это сделать, мы попробуем, мы увидим, возможно ли это?

Мне начало казаться, что навряд ли наша совместная работа состоится. Даже пришло в голову, что Достоевский сомневается в возможности и удобстве для него этого способа работы и готов отказаться. Чтобы ему помочь в решении, я сказала:

— Хорошо, попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится.

Достоевский захотел продиктовать мне из «Русского вестника» и просил перевести стенограмму на обыкновенное письмо. Начал он чрезвычайно быстро, но я его остановила и просила диктовать не скорее обыкновенной разговорной речи.

Затем я стала переводить стенографическую запись на обыкновенную и довольно скоро переписала, но Достоевский все торопил меня и ужасался, что я слишком медленно переписываю.

— Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь, — успокоила я его, — не все ли вам равно, сколько времени возьмет у меня эта работа?

¹ Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у проф. Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. (Прим. А. Г. Достоевской.)

Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил. Он был видимо раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал, то принимался ходить по комнате, ходил долго, как бы забыв о моем присутствии. Я сидела не шевелясь, боясь нарушить его раздумье.

Наконец Достоевский сказал, что диктовать он сейчас решительно не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему сегодня же часов в восемь. Тогда он и начнет диктовать роман. Для меня было очень неудобно приходиться во второй раз, но, не желая откладывать работы, я на это согласилась.

Прощаясь со мною, Достоевский сказал:

— Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?

— Почему же?

— Да потому, что мужчина, уж наверно бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете?

Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку.

— Уж я-то наверно не запью, в этом вы можете быть уверены, — серьезно ответила я.

Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление. Я думала, что навряд ли сойду с ним в работе, и мечты мои о независимости грозили рассыпаться прахом...

Было около двух часов, когда я ушла от Достоевского. Ехать домой было слишком далеко: я решила пойти к одним родственникам, жившим в Фонарном переулке, пообедать у них и вечером вернуться к Достоевскому.

Родственники мои очень заинтересовались моим новым знакомым и стали подробно расспрашивать о Достоевском. Время быстро прошло в разговорах, и к восьми часам я уже подходила к дому Алонкина. Федосья (так звали служанку) пошла доложить о моем приходе. Вернувшись, она пригласила меня в кабинет. Я села на мое давешнее место около небольшого столика. Но Федору Михайловичу это не понравилось, и он предложил мне пересесть за его письменный стол, уверяя, что мне будет на нем удобнее писать.

Я пересела, а Федор Михайлович занял мое место у столика. Он опять осведомился о моем имени и фамилии и спросил, не прихожусь ли я родственницей недавно скончавшемуся молодому и талантливому писателю Сниткину. Я ответила, что это однофамилец. Он стал расспрашивать, из кого состоит моя семья, где я училась, что заставило меня заняться стенографией и пр.

На все вопросы я отвечала просто, серьезно, почти сурово, как уверял меня потом Федор Михайлович. Я давно уже решила, в случае, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне ли-

цам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим умением себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало. Тем более был он рад встретить во мне полную противоположность господствовавшему тогда типу молодых девушек.

Тем временем Федосья приготовила в столовой чай и принесла нам два стакана, две булочки и лимон. Федор Михайлович вновь предложил мне курить и стал угощать меня грушами.

За чаем беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Мне вдруг показалось, что я давно уже знаю Достоевского, и на душе стало легко и приятно. Почему-то разговор коснулся петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями.

— Помню, — говорил он, — как стоял на Семновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовления, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым, в третьем ряду. Первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго... Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском рavelине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни! Затем допустили брата проститься со мною перед разлукой и накануне Рождества Христова отправили в дальний путь. Я сохраняю письмо, которое написал покойному брату в день прочтения приговора, мне недавно вернул письмо племянник.

Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии, познакомявшись с его семейной обстановкою, я поняла причину этой доверчивости и откровенности: в то время Федор Михайло-

вич был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление.

Разговор наш переходил с одной темы на другую, а работать мы все еще не начинали. Меня это беспокоило: становилось поздно, а мне далеко было возвращаться. Матери моей я обещала вернуться домой прямо от Достоевского и теперь боялась, что она станет обо мне беспокоиться. Мне казалось неудобным напомнить Федору Михайловичу о цели моего прихода к нему, и я очень обрадовалась, когда он сам о ней вспомнил и предложил мне начать диктовать. Я приготовилась, а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми шагами, наискось от двери к печке, причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее два раза. При этом он курил, часто меняя и бросая недокуренную папиросу в пепельницу, стоявшую на кончике письменного стола.

Продиктовав несколько времени, Федор Михайлович попросил меня прочесть ему написанное и с первых же слов меня остановил:

— Как «воротилась из Рулетенбурга»? Разве я говорил про Рулетенбург?

— Да, Федор Михайлович, вы продиктовали это слово.

— Не может быть!

— Позвольте, имеется ли в вашем романе город с таким названием?

— Да. Действие происходит в игорном городе, который я назвал Рулетенбургом.

— А если имеется, то вы, несомненно, это слово продиктовали, иначе откуда бы я могла его взять?

— Вы правы, — сознался Федор Михайлович, — я что-то напутал.

Я была очень довольна, что недоразумение разъяснилось. Думаю, что Федор Михайлович был слишком поглощен своими мыслями, а может быть, за день очень устал, оттого и произошла ошибка. Он, впрочем, и сам это почувствовал, так как сказал, что не в состоянии больше диктовать, и просил принести продиктованное завтра к двенадцати часам. Я обещала исполнить его просьбу.

Пробило одиннадцать, и я собралась уходить. Узнав, что я живу на Песках, Федор Михайлович сказал, что ему ни разу еще не приходилось бывать в этой части города и он не имеет понятия, где находятся Пески. Если это далеко, то он может послать свою прислугу проводить меня. Я, разумеется, отказалась. Федор Михайлович проводил меня до двери и велел Федосье посветить мне на лестнице.

Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мною Достоевский, но, чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня

от всего этого так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце... Я была очень утомлена и поскорее легла в постель, прося разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать все продиктованное и доставить его Федору Михайловичу в назначенный час.

На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я ни спешила, но опоздала на целых полчаса. Федора Михайловича я нашла в большом волнении.

— Я уже начал думать, — сказал он, — что работа у меня показалась вам тяжелою и вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано.

— Мне очень совестно, что я так запоздала, — извинялась я, — но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал.

— Я оттого так беспокоюсь, — объяснял Федор Михайлович, — что мне необходимо написать этот роман к первому ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее семи листов издания Стелловского.

Я стала расспрашивать подробности, и Федор Михайлович объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали.

По смерти своего старшего брата Михаила, Федор Михайлович принял на себя все долги по журналу «Время», издававшемуся его братом. Долги были вексельные, и кредиторы страшно беспокоили Федора Михайловича, грозя описать его имущество, а самого посадить в долговое отделение. В те времена это было возможно сделать.

Неотложных долгов было тысяч до трех. Федор Михайлович всюду искал денег, но без благоприятного результата. Когда все попытки уговорить кредиторов оказались напрасными и Федор Михайлович был доведен до отчаяния, к нему неожиданно явился издатель Ф. Т. Стелловский с предложением купить за три тысячи права на издание полного собрания сочинений в трех томах. Мало того, Федор Михайлович обязан был в счет той же суммы написать новый роман.

Положение Федора Михайловича было критическое, и он согласился на все условия контракта, лишь бы избавиться от угрожавшего ему лишения свободы.

Условие было заключено (летом) 1865 года, и Стелловский внес у нотариуса условленную сумму. Эти деньги на другой же день были уплачены кредиторам; таким образом, Федору Михайловичу не досталось ничего на руки. Обиднее же всего было то, что через несколько дней все эти деньги вновь вер-

нулись к Стелловскому. Оказалось, что он скупил за бесценок векселя Федора Михайловича и чрез двух подставных лиц взыскивал с него деньги. Стелловский был хитрый и ловкий эксплуататор наших литераторов и музыкантов (Писемского, Крестовского, Глинки). Он умел подстергать людей в тяжелые минуты и ловить их в свои сети. Цена три тысячи за право издания была слишком незначительна ввиду того успеха, который имели романы Достоевского. Самое же тяжелое условие заключалось в обязанности доставить новый роман к 1 ноября 1866 года. В случае недоставления к сроку Федор Михайлович платил бы большую неустойку; если же не доставил бы роман и к 1 декабря того же года, то терял бы права на свои сочинения, которые перешли бы навсегда в собственность Стелловского. Разумеется, хищник на это и рассчитывал.

Федор Михайлович в 1866 году поглощен был работою над романом «Преступление и наказание» и хотел закончить его художественно. Где же было ему, больному человеку, написать еще столько листов нового произведения?

Вернувшись осенью из Москвы, Федор Михайлович пришел в отчаяние от невозможности в какие-нибудь полтора-два месяца выполнить условия заключенного со Стелловским контракта. Друзья Федора Михайловича — А. Н. Майков, А. П. Милюков, И. Г. Долгомостьев и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-четвером они успели бы кончить работу к сроку; Федору же Михайловичу оставалось бы только отредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения: он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением. Тогда друзья стали советовать Федору Михайловичу обратиться к помощи стенографа.

Как ни мало я знала в то время людей, но образ действий Стелловского меня чрезвычайно возмутил.

Подали чай, и Федор Михайлович принял меня диктовать. Ему, видимо, трудно было втянуться в работу: он часто останавливался, обдумывал, просил прочесть продиктованное и через час объявил, что утомился и хочет отдохнуть. Начался разговор, как и вчера. Федор Михайлович был встревожен и переходил от одного сюжета к другому. Опять спросил, как меня зовут, и через минуту забыл. Раза два предложил мне папиросу, хотя уже слышал, что я не курю.

Я стала расспрашивать его о наших писателях, и он оживился. Отвечая на мои вопросы, он как бы отвлекся от своих неотвязных дум и говорил спокойно, даже весело. Кое-что я запомнила из его тогдашнего разговора. Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар. Майкова он любил не только как талантливого поэта, но и как умнейшего и прекрас-

нейшего из людей. О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей.

После небольшого отдыха мы вновь принялись за работу. Федор Михайлович стал опять раздражаться и тревожиться: работа, видимо, ему не удавалась. Объясняю это непривычкою диктовать свое произведение малознакомому лицу.

Около четырех часов я собралась уходить, обещая завтра к двенадцати часам принести продиктованное. На прощанье Федор Михайлович вручил мне стопку плотной почтовой бумаги с едва заметными линейками, на которой он обычно писал, и указал, какие именно следует оставлять на ней поля.

Так началась и продолжалась наша работа. Я приходила к Федору Михайловичу к двенадцати часам и оставалась до четырех. В течение этого времени мы раза три диктовали по полчаса и более, а между диктовками пили чай и разговаривали. Я стала с радостью замечать, что Федор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее. Это сделалось особенно заметным с того времени, когда, сосчитав, сколько моих исписанных страниц составляют одну страницу издания Стелловского, я могла точно определить, сколько мы уже успели продиктовать. Всё прибавлявшееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Федора Михайловича. Он часто меня спрашивал: «А сколько страниц мы вчера написали? А сколько у нас в общем сделано? Как думаете, кончим к сроку?»

Дружески со мной разговаривая, Федор Михайлович каждый день раскрывал передо мною какую-нибудь печальную картину своей жизни. Глубокая жалость невольно закрадывалась в мое сердце при его рассказах о тяжелых обстоятельствах, из которых он, по-видимому, никогда не выходил, да и выйти не мог.

Сначала мне казалось странным, что я не видела никого из его домашних. Я не знала, из кого состоит его семья и где она теперь находится. Только одного члена его семьи я встретила, кажется, в четвертый мой приход. Кончив работу, я выходила из ворот дома, как меня остановил какой-то молодой человек, в котором я узнала юношу, виденного мною в передней в первое мое посещение Федора Михайловича. Вблизи он показался мне еще некрасивее, чем издали. У него было смуглое, почти желтое лицо, черные глаза с желтыми белками и пожелтевшие от табака зубы.

— Вы меня не узнали? — развязно спросил меня молодой человек. — Я видел вас у папá. Мне не хочется входить во время ваших занятий, но мне любопытно бы знать, что это за штука стенография, тем более что я сам начну изучать ее на днях. Позвольте. — И он бесцеремонно взял из моих рук портфель,